

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

КНИГИ  
ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ —  
ПОДЛИННОЕ УКРАШЕНИЕ  
ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ,  
ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ  
В ЛИТЕРАТУРЕ:

- Любовь фрау Клейст
- Веселые ребята
- Портрет Алтовити
- День ангела
- Напряжение счастья
- Сусанна и старцы
- Жизнеописание грешницы Аделы
- Отражение Беатриче
- Страсти по Юрию
- Вечер в вишневом саду
- Полина Прекрасная
- Райское яблоко
- Соблазнитель
- Имя женщины — Ева
- Я вас люблю
- Ты мой ненаглядный!
- Дневник Натальи
- Елизаров ковчег
- Младенческие опыты женщины
- Шестая повесть И.П. Белкина

Семейная сага «Я вас люблю»:

- Барышня
- Холод черемухи
- Мы простимся на мосту

ИРИНА  
МУРАВЬЁВА

СТРАСТИ  
ПО ЮРИЮ



МОСКВА  
2017

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
М91

Художественное оформление серии  
*А. Старикова*

**Муравьёва, Ирина.**

М91 Страсти по Юрию / Ирина Муравьёва. — Москва :  
Издательство «Э», 2017. — 288 с. — (Любовь к жизни.  
Проза И. Муравьёвой).

ISBN 978-5-699-94410-1

«Страсти по Юрию» Ирины Муравьёвой – роман особенный. Он посвящен памяти великого русского писателя Георгия Николаевича Владимова. Страсти – это вожделения, затмевающие волю рассудка, нарушающие правила, выработанные определенным временем и пространством. Страсть к любовнице, попирающая устои семьи. Страсть к жизни, отрицающая смерть. Страсть к творчеству, идущая вразрез с инстинктом самосохранения. Страсть к честности, то ввергающая человека в конфликт с собой и миром, то возносящая к восторгу подлинности. «Страсти по Юрию» – это и скорбь автора по художнику, и дань памяти, и воздаяние чести.

**УДК 821.161.1-31**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-699-94410-1

© Муравьёва И., 2017  
© Оформление.  
ООО «Издательство «Э», 2017

## ЧАСТЬ 1

**Н**икто не ожидал, что в декабре зацветут розы. Бутоны их, уже слегка сморщившиеся от ноябрьского ветра — хотя и теплого, но все же порывистого и тревожного, как и полагается ветру, несущему в пышных, огромных раздутых губах, волосах, крепких крыльях суровую весть о грядущей зиме, — бутоны зажглись и смущенно раскрылись. Да что там бутоны! Земля вся прогрелась — вот главное. Земля разомлела настолько, как будто бы завтра вся зазеленеет. А ей не цветения ждать полагалось, а колких и крепких объятий мороза.

Вот так и с людьми. Не смерти ждет человек и даже не старости, хотя вокруг сколько примеров: вон с палкой какой-то сутулый прошел, а вон понесли на носилках старуху, — и все же, проснувшись поутру, увидев, как синью охвачено небо, человек начинает думать о том, что он никогда не умрет, никогда не состарится, и думает только об этом, хотя своих мыслей не осознает: они, как дыхание, неощутимы. А если предчувствие вдруг и сожмет уставшее сердце,

то это не тогда случается, когда мужчина или женщина средних лет, но все еще полные сил и желаний, пьют, скажем, свой утренний чай или кофе и им нужно быстро одеться, бежать (кому на работу, кому в магазин!), а дел, и забот, и звонков впереди так много, что дня никогда не хватает, — не в эти минуты сжимается сердце, а ночью, когда человек крепко спит — так крепко, что даже рука затекает.

Варвара Сергеевна часто видела себя стоящей на краю обрыва. Весь смысл этого мрачного сна заключался в том, что спастись можно только при одном условии: не оглядываться, не обращать внимания на влажную и жаркую волну — дыханье чужой притаившейся жизни, враждебной по сути, несущей ей гибель. Она стояла на выскальзывающем из-под ноги камне, не шевелясь, закат все ярче и ярче разгорался перед ее слезящимися глазами, и в этом мучительном свете чернела одна неподвижная, длинная тень. Стояла, пока этот сон не смывало внезапно нахлынувшей грязной водою. Утром она просыпалась с мешками под глазами, с затекшей левой рукой, подходила к зеркалу, быстро растирала продолговатые щеки, широко раскрывала черные, отливающие синевою глаза и часто до слез ужасалась тому, как гаснет и меркнет ее красота. Еще бы: одни неприятности. Жизнь походила на распластанную шкурку под острым ножом скорняка, но шкурка была вся живой, ножом ее резали с кровью.

Спасение было одно: быть с ним, и пусть он защищает. И он защищал, хотя если уж говорить о нем, то он-то и был скорняком, он и резал. Варвара во многом вела себя так же, как в детстве, и ей часто пеняли на эту ее ребячливость. Ребячливость-то и спасала. Так же, как в детстве, когда она пряталась в самые далекие уголки, завешивалась какой-нибудь простыней, затаивалась, и ужас, что вот-вот найдут, все разрушат, сменялся восторгом, и новый, из жгучих огней пополам с чернотой и кровью, шумящей в ушах, чудный мир, в котором ей было тепло до истомы, валил, обволакивал и уносил, как волк на себе уносил Василису, — вот так и сейчас: она прибежала к нему в мастерскую, завешивала окна, срывала с себя всю одежду и быстро, как будто за ней кто-то гнался, ныряла к нему, в его жадные руки. Всякий раз, когда они в душной этой мастерской опять, в сотый раз, без единого звука — лишь мощно шумящая кровь в голове — сливались в одно существо и казалось, что ног слишком много, а рук ни одной, она начинала дышать глубоко, свободно, прекрасно, не так, как всегда. Она поднималась над грешной землей, и ребра ее холодели внутри, как будто по ним провели очень быстро осколком слоистого льда.

Юрочка, знаменитый писатель Юрий Николаевич Владимиров, был Вариной самой заветной любовью. Все прежние ее увлечения и даже два брака по сравнению с тем, через что она проходила сейчас с ним, казались набросками, серыми слепками.

А жизнь начиналась непросто. Варвара была такой красивой, что в детстве, когда бабушка шла за руку с ней по бульвару, всегда кто-нибудь приставал к ним, заговаривал, мешал разговору. Бабушка относилась к подобным приставаниям болезненно, и эта болезненность передавалась Варе. Ей было лет восемь, когда за бабушкой увязался лохматый, в большом грязном шарфе молодой человек, умоляя привести девочку на киностудию «Мосфильм» и показать ее Рубену Исаковичу. Бабушка наотрез отказалась идти на киностудию, и тогда лохматый встал на колени и так, не вставая, по свежей траве, шел долго за ними и что-то покрикивал. Они убежали от него и бежали долго, пока не оказались в безопасности, спрятались в «Гастрономе», где Варя выпила два стакана томатного сока с мякотью, предварительно размешав в этом соке пол-ложки серой грубой соли, насыпанной горсткой на блюде. С годами она поняла: все эти аханья, цоканья, прищелкиванья костяшками, посвистывания, вспышки зрачков, которые липли к лицу, — все это: «мужчины». Когда она начала сама ездить на метро в школу, ей приходилось сразу же доставать из портфеля учебник и делать вид, что она не может от него оторваться, хотя ото всех этих знаков внимания то строчки сливались, то буквы крошились. И было совсем уже гадко и стыдно, когда у них засорилась



раковина на кухне, пришел кисло пахнущий ржавчиной слесарь, опустил свои волосатые ручки прямо в гнилую грязную воду, а Варя почему-то стояла и смотрела, не могла оторваться, пока он не оглянулся вдруг воровато и не выдохнул ей прямо в лицо: «Меня бы в такую... запусти, так я и не вылезу!» Она не знала слова, которое растопырилось внутри его вороватой и непонятной ей фразы, но сразу выскочила из кухни, как будто ее обварили, и плакала долго, закрывшись в уборной.

Во дворе их дома на Смоленской вечно торчала шпана, поэтому Варвару не выпускали гулять вместе с другими девочками, которые так и льнули к этой шпане и всячески пытались обратиться на себя внимание самых что ни на есть отпетых хулиганов с такими веселыми, добрыми лицами, что плакать хотелось от жалости: все ведь сопьются. Тринадцатилетние Варины подруги не знали, что парни сопьются, им просто хотелось тепла. Хулиганы излучали тепло, такое ровное и заманчивое, как будто внутри их горели рефлекторы, и жемчужная от мороза слюна, сплюнутая на снег их красными, как клюква, губами, была красивее, чем брошка на платье. Они исподлобья смотрели на девочек, дивясь их невинности, громко шутили, а девочки, во все не все понимая, смеялись их шуткам и жались друг к дружке. Это были простые девочки из простых семей, по воскресеньям их матери в

цветастых халатах, тапочках на босу ногу и с огромными от бигуди головами под газовыми платочками выносили помойные ведра и делали это с размахом и весело. Варя стояла у окна и смотрела на то, как чужие полуголые женщины с багровыми от мороза лицами и шеями скользили почти босиком по дорожке, протоптанной к бакам, потом поднимали тяжелые ведра, и полы цветастых халатов, как птицы, шарахались в разные стороны.

Ее мама умерла давно, так давно, что Варя ее и не помнила. Но помнила запах. Она знала, что это запах духов «Красная Москва», но в доме у них отродясь не душились, а запах все жил. Иногда, особенно спросонья, утром, она вдруг чувствовала, что запаха нет, он ушел, и ее охватывала паника. Но запах опять возвращался. Он плыл, едва уловимый, капризный, упрямый, как будто его возвратили силком, то от бахромы на диванной подушке, то даже от связки ключей. На кладбище, куда Варя иногда ездила вместе с папой, темнел красный камень с большой фотографией. Мама смотрела мимо Вари, как будто забыла о ней и как будто ей даже неловко, что там, на земле, другие бегут по морозу, теряя в снегу свои рваные тапки, а ей, с этой очень красивой прической, досталось беспечно глядеть в облака. Все, кого Варя знала, не сомневались в том, что у нее НЕТ мамы, но и дед, и отец, и бабуля, и, главное, сама Варя относились к ма-

миной смерти с подозрением, и хотя ни один из них не произносил этого вслух, но каждый в душе твердо верил: они с ней когда-нибудь встретятся.

Вчера вечером, когда нужно было уходить из мастерской и опять расставаться с Юрочкой, — а свидание получилось нервным, скомканным, и Юрочка хмурился, как будто куда-то торопился, — Варвара Сергевна, сидя в одном белье на кровати и внимательно следя черно-синими глазами за погрузневшим своим любовником, сказала, вздохнув:

— Сегодня день маминой смерти.

— Ходила на кладбище?

— Что мне там делать?

Юрочка ничего не ответил, и она знала, что он по своему замкнутому характеру не станет бросаться в такой разговор, а даст ей сказать, а потом промолчит, и так, чтобы ей показалось, как будто он с нею во всем согласился. Но лицо его при этом обязательно вспыхнет отражением какой-то собственной мысли, которой Юрочка не собирается с нею делиться. Он был словно лодка, которую привязали к берегу очень длинную цепью, и всякий раз, когда поднимается ветер и море штормит, эта лодка, мирно спящая на песке, гремит и пытается вырваться. Конечно же, ей далеко не уплыть, но эти порывы пугают.

Вот и сейчас, когда Варвара решительно сказала, что ей нечего делать на кладбище, а он промолчал и начал зачем-то уже одеваться, нагнулся, чтобы завязать шнурки на ботинках, и этим движением спрятал лицо, она сразу вспыхнула, вскочила с кровати, села перед ним на корточки, оттолкнула его руки, сама завязала шнурки и спросила:

— Ну, что ты молчишь?

— Так а что говорить?

— Нет, ты подожди! Ты решил доказать...

— Да что тут доказывать... — Он дернул своей обожженной щекою и все-таки встал.

Обожженная щека, которую он прятал под седыми волосами и стеснялся ее, хотя, как искренне думала Варвара, его умное лицо с высокими татарскими скулами и ясными глазами только выигрывало от темной плесени небольшого ожога, который его отличал ото всех, — эта бедная щека была ей знакома во всех своих впадинках, родинках, шрамах, и сейчас, когда он задергал вдруг ею, и встал, и двинулся к вешалке, словно не видел, что Варя сидит на полу, она перегородила ему дорогу, обхватила его шею руками, прижалась губами к ожогу и замерла.

— Повалишь меня, — усмехнулся он кротко.

Но они уже снова оказались на кровати, и он покорно опустился на подушки, глядя на нее своими вдруг особенно заблестевшими глазами. Она лежала на нем, обеими смуглыми и силь-

ными руками сжимая его плечи, и волосы ее, такие же черные, как и глаза, и с той же внутри синевою, лились на него водопадом. Поплыли, поплыли... Ты где? Я с тобой. Послушай, как бьется! Послушай, как бьется! Зачем же ты вырвалась? Я? Я не вырвалась...

Он ей подчинился, но только сейчас, в постели, внутри ее тела, а стоит ему оторваться, уйти, она ведь опять остается одна, опять умирать, ждать звонка, и опять — бряцанье цепей, этот жуткий их скрежет!

За окнами стало темно, снег пошел.

— Когда папа сказал мне, что мама моя умерла, — прошептала она, прижимаясь к нему и слушая постепенно успокаивающийся стук его сердца, — мне было лет шесть...

Слова ее тихо дымились во сне. Они были частью огня, продлевали тепло, и лицо Владимира, еле различимое в наступившей темноте, напоминало клочок какого-то облака, светлого по сравнению со всем остальным черным небом, затянутым плотными тучами.

— Ты плачешь?

— Но, мой ненаглядный, а как же не плакать?

Пусть помнит, насколько ей трудно. Пусть чувствует, что она плачет все время. На самом деле она плакала так, как плачут люди, достигшие наконец того, к чему они стремились, и сладко топящие боль напряжения с помощью слез. Ей было жаль его, и одновременно она не могла

не радоваться тому, что сейчас он уже никуда не торопится и не смотрит на часы. Он был рядом с нею, дышал в ее волосы, гладил мизинцем ее сине-черные, длинные брови.

Она победила и плакала тихо.

— Когда мне сказали, что она умерла, — а я думала, что она куда-то уехала и вот-вот вернется, — я никому не поверила. Дети не понимают, что такое смерть... Они чувствуют, что это не навсегда...

Крепкая шея его напряглась, как будто он подавил зевоту. Варвара тут же насторожилась:

— Ты спать хочешь, Юрочка?

— С чего ты взяла?

— У нас дома было очень много маминых фотографий, — быстро, не давая ему заскучать, заговорила она. — И я по вечерам, засыпая, представляла себе, как мы идем на кладбище и достаем ее из-под земли.

Он вздрогнул, прижался к ней крепче.

— Она была такой же, как на этих фотографиях. И ты знаешь, ничего страшного в моих фантазиях не было! Совсем даже наоборот. Понимаешь?

Варвара не смела расслабиться: его жена, при одной мысли о которой кровь стыла в жилах, была, и жила, и дышала одновременно с нею, и думала что-то свое про Варвару, про мужа, про жизнь. По «Свободе» читали отрывки из его романа, и это грозило каким-то решением, которое будет принято властями, но о котором

никто из них, то есть самого Владимирова, его жены и Варвары, пока что не знал. В ресторане ЦДЛ, понизивши голос настолько, что сами себя плохо слышали, бурлили собраты по перу. Всем хотелось иметь собственное мнение о жизни Владимирова, о книге Владимирова, об этой любви его на стороне, но пили все столько, что мнение — любое, и самое крепкое, — быстро слабело.

Она придавливала своей растрепанной головой его горячее плечо, плакала и Бог знает что бормотала ему в ключицу, в ожог на щеке, в эту шею, где кожа лоснилась от слез, как от пота.

— Когда я умру, — прошептала она и с ярким восторгом блеснула глазами, — ты только не верь. Не ходи на могилу. Меня там не будет. Я буду с тобой.

Он, кажется, даже и всхлипнул слегка. А может быть, ей показалось. Она имела право говорить ему все, что приходило в голову, и даже ошибки ее, даже ее неловкости и слова, которые часто казались смешными, служили их пользе, как ружья солдатам.

Ни он, ни она, ни друзья, ни знакомые не представляли себе, как долго власти будут терпеть то, что Владимирова печатают на Западе и отрывки из его романов постоянно читают вражеские голоса. Могло затянуться, могло быстро кончиться. Что такое Запад, оба они представляли себе так же смутно, как и большинство людей, живущих в отрыве от этого Запада. Были